

СЕВЕР



Никита Черепанов

18+

Никита Черепанов

Север

«Автор»

2026

Черепанов Н.

Север / Н. Черепанов — «Автор», 2026

Есть места, куда человек возвращается не по собственной воле. Его зовёт не письмо, не долг и даже не смерть близкого человека, а нечто более древнее — то, что долгие годы ждало под снегом, в стенах старых домов и в молчании тех, кто знал слишком много. Виктор Орлов, преподаватель истории, давно убедил себя, что прошлое существует только в документах, книгах и человеческой памяти. Но когда приходит письмо из северного Варежска, где умер его дед, эта уверенность начинает трескаться. Сестра ждёт его в доме у старого кладбища. Похороны назначены на пятницу — если земля позволит копать. В городе говорят мало, смотрят долго и боятся слов, которым сам Виктор пока не знает значения. Здесь время не течёт так, как должно. Здесь детские воспоминания не совпадают с тем, что было на самом деле. Здесь некоторые двери не открывают. Их находят уже открытыми. А прошлое, однажды загнанное слишком глубоко, не умирает.

© Черепанов Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 Письмо	5
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Никита Черепанов

Север

Глава 1 Письмо

В тот день я читал лекцию о природе исторической памяти.

Не о датах. Даты всегда казались студентам самым скучным и самым безопасным в истории. Год битвы, год смерти государя, год основания города, год падения крепости. Цифры ложатся на бумагу ровно, без крови, без запаха дыма, без человеческого крика. В них есть удобство: они создают обманчивое чувство порядка.

Я стоял у высокой доски, испачканной мелом до тусклой серости, и смотрел на лица студентов. Некоторые писали. Некоторые делали вид, что пишут. У окна сидел молодой человек в потёртом пальто и смотрел не на меня, а на снег за стеклом. Снег падал медленно, густо, почти беззвучно, будто кто-то сверху просеивал над городом серую муку.

В аудитории пахло мокрым сукном, дешёвым табаком, пылью старых книг и холодом, который студенты приносили на плечах вместе со снегом.

— История, — сказал я, — редко умирает там, где мы ставим точку в учебнике. Мы привыкли думать, что прошлое лежит позади нас: в архивах, в могилах, в руинах, в судебных протоколах, в чужих письмах. Но это не совсем так.

Я провёл мелом линию на доске.

— Прошлое не исчезает. Оно меняет форму. Становится законом, страхом, привычкой, семейным молчанием, городским слухом. Иногда — виной. Иногда — болезнью, которую наследуют люди, даже не зная её названия.

В аудитории стало тише.

Я не любил, когда студенты слушали слишком внимательно. В такие минуты начинало казаться, что я говорю не им, а самому себе.

— Государства могут переписать летописи. Семьи могут сжечь письма. Священники могут запретить имена мёртвых. Победители могут поставить памятники, а побеждённых закопать без крестов и табличек. Но всё это не уничтожает прошлое. Оно только загоняет его глубже.

Я снова коснулся мелом доски, но не написал ничего.

— И чем глубже его загоняют, тем тяжелее оно потом возвращается.

Один из студентов поднял голову.

— Вы хотите сказать, что прошлое всегда возвращается?

Я хотел ответить сразу. Хотел сказать: нет, не возвращается — возвращаются только последствия. Именно так я говорил обычно. Так было правильно. Так было научно. Так было безопасно.

Но в эту секунду дверь аудитории открылась.

На пороге стояла секретарь кафедры. В руках она держала конверт.

Простой, серый, помятый по краям. Такие конверты приходили из мест, где бумагу берегли, а слова писали редко и только по необходимости. На нём не было ничего особенного: адрес, моя фамилия, неровные штампы, след от влаги в углу.

И всё же я сразу понял, откуда он.

Есть названия, которые человек не вспоминает годами, но они всё равно живут в нём, как заноза под кожей. Не болят каждый день, не мешают ходить, не заставляют кричать. Но стоит задеть — и тело узнаёт боль раньше разума.

Я взял конверт.

Пальцы почему-то не сразу сжались. Бумага была холодной, хотя пролежала в тёплом здании, должно быть, не меньше часа. Влажный край прилип к большому пальцу.

На обороте стояло имя моей сестры.

Анна.

Я не видел её одиннадцать лет.

Нет. Двенадцать.

Я всегда путался в этом счёте.

— Виктор Сергеевич? — спросил кто-то из студентов.

Я поднял глаза.

Они смотрели на меня. Не все, но достаточно многие, чтобы я почувствовал внезапную неловкость. В аудитории стало неестественно тихо. Даже снег за окном будто падал медленнее.

Мел всё ещё был у меня в руке, но я не помнил, что хотел написать на доске.

Там, между двумя датами, осталась незаконченная линия.

— На сегодня всё, — сказал я.

Мой голос прозвучал спокойно. Даже слишком спокойно.

Студенты зашевелились. Застучали крышки чернильниц, заскрипели скамьи, кто-то шепнул соседу что-то раздражённое, кто-то поспешно собрал тетради. Обычный шум конца лекции заполнил аудиторию, но до меня он доходил издалека, словно я стоял не среди людей, а за толстым стеклом.

Я не вскрыл письмо сразу.

Положил его в карман пиджака. Провёл ладонью по доске, стирая собственные слова. Мел забился под ногти. Белая пыль осела на рукаве.

Прошлое не исчезает.

Я стёр эту фразу последней.

После лекции я долго сидел в кабинете кафедры, хотя там уже почти никого не было. За окном темнело рано. Февральский вечер давил на стёкла густой синевой. Где-то в коридоре уборщица двигала ведро, и его металлический скрежет каждый раз заставлял меня поднимать голову.

Письмо лежало передо мной.

Я знал, что внутри.

Не слова — нет. Слов я ещё не читал. Но я знал их вес. Бывают письма лёгкие: приглашения, поздравления, просьбы о деньгах, чужие новости. А бывают такие, которые человек держит в руках и чувствует, как с каждой секундой они становятся тяжелее.

Я вскрыл конверт ножом для бумаги.

Почерк Анны почти не изменился. Чуть резче, чуть суше, будто каждая буква была поставлена не чернилами, а усилием.

Витя.

Дед умер.

Похороны назначены на пятницу, если земля позволит копать.

Я знаю, что ты не хотел возвращаться. Я бы не писала, если бы это касалось только похорон.

Перед смертью он несколько раз спрашивал о тебе. В последние часы говорил плохо, я не всё разобрала. Но одно я поняла точно: он хотел, чтобы ты приехал.

В доме остались его вещи и бумаги. Некоторые из них я не решаюсь трогать без тебя.

Есть ещё кое-что. Об этом лучше не писать.

Приезжай как можно скорее.

И если помнишь лампу — возьми её с собой.

Анна.

Я перечитал письмо три раза.

Потом ещё раз.

Лампа.

Слово было простым. Почти бытовым. Керосиновая лампа на столе. Лампа в сарае. Лампа в руках старика, идущего по тёмному коридору.

Но стоило мне прочесть его, как в горле появился вкус ржавчины.

Я увидел снег.

Не тот, что падал за окном кафедры. Другой. Более сухой, мелкий, колючий. Он летел почти горизонтально, бил в лицо и застревал в ресницах. Я был маленьким. На мне были варежки с пришитой резинкой, но одна варежка потерялась. Правая рука болела от холода.

Передо мной был чёрный провал в земле — как открытый рот, вырубленный в мерзлоте и камне. Снег вокруг него был ниже, чем везде, будто земля там дышала теплее остального мира. Я помнил это странно ясно: серую корку льда на досках, обломанный столбик у края, следы саней, исчезающие возле тёмного зева.

И ещё — тишину.

Такой тишины не бывает на открытом воздухе. Даже зимой, даже далеко от города, всегда что-то слышно: скрип деревьев, ветер, снег по воротнику, собственное дыхание. Но возле того провала звуки будто обрывались. Я видел, как дед что-то говорил мне, видел, как из его бороды сыпался иней, но первые слова не дошли до меня.

Он стоял рядом и держал лампу.

Жёлтый огонь дрожал в стекле, но не освещал его лица. Это тоже было неправильно. Лампа должна была отбрасывать свет на подбородок, на щёки, на глаза. Но лицо деда оставалось в тени, будто темнота из шахты лежала на нём плотнее, чем ночь.

Я помнил только бороду, покрытую инеем, и пальцы — тёмные, потрескавшиеся, с вьёвшейся угольной пылью. Эти пальцы сжали моё плечо так крепко, что я почувствовал боль даже сейчас, через много лет, сидя в тёплом кабинете кафедры.

Потом звук вернулся.

Он наклонился ко мне и сказал:

— Не отвечай, если услышишь своё имя.

Я хотел спросить, почему.

Но в тот же миг из глубины провала донёсся голос.

Тихий. Далёкий. Не громче шёпота, но я услышал его так ясно, будто кто-то стоял у самого моего уха.

Он позвал меня.

Я не запомнил его. Или запомнил и всю жизнь не позволял себе вспомнить. В нём было что-то старое, чужое, не из нашего языка. Не просто слово — скорее звук, который когда-то мог быть именем, если его произносили люди, жившие слишком давно.

Дед резко сжал моё плечо.

Лампа в его руке качнулась, и на миг свет упал на снег у самого входа. Там были следы.

Маленькие.

Детские.

Они вели не к шахте.

Они выходили из неё.

Я резко встал.

Стул ударился о пол и глухо отскочил. В коридоре замер скрежет ведра.

Несколько секунд я не понимал, где нахожусь. Передо мной был стол, стопка студенческих работ, холодный чай в стакане, пальто на вешалке. Всё обычное, знакомое, бедное до скуки. Университет. Кафедра. Город, в котором я жил уже много лет.

Но лицо горело от мороза.

Я провёл ладонью по щеке и почти ожидал увидеть на пальцах растаявший снег. Ничего не было. Только меловая пыль под ногтями и дрожь в кисти, которую я не сразу смог унять.

Я сел обратно.

Медленно, осторожно, как садятся после болезни или после удара.

На столе лежало письмо Анны. В нём не было ни шахт, ни провала, ни детских следов на снегу. Только смерть деда, пятница, земля, которую ещё предстояло раскопать, и фраза о лампе.

Я заставил себя перечитать письмо ещё раз.

Потом сложил его по старым сгибам.

Я не верил снам.

Во всяком случае, всегда так говорил. Сны были мусором памяти, случайным движением усталого мозга, обрывками лиц, слов, запахов, которые днём не нашли себе места. Человек видит во сне то, чего боится, или то, что слишком долго отказывается помнить. В этом не было мистики. Только физиология. Только слабость.

И всё же последние недели мне снился один и тот же сон.

Не каждую ночь. Не так часто, чтобы я признал это болезнью. Но достаточно часто, чтобы по утрам я лежал в темноте и несколько минут не решался открыть глаза.

Мне снился длинный коридор под землёй.

Узкий, сырой, с низким потолком, по которому тянулись чёрные жилы угля. В конце коридора стояла лампа. Она горела белым огнём, холодным и неподвижным. Я шёл к ней, хотя знал, что не должен.

Каждый раз, прежде чем проснуться, я слышал шаги за спиной.

Медленные.

Терпеливые.

Будто тот, кто шёл следом, знал: я всё равно остановлюсь.

Связано ли это было с письмом Анны? С дедовой смертью? С тем словом о лампе?

Вряд ли.

Я был историком, а не суеверной старухой у печи. Я знал, как память умеет подделывать саму себя. Достаточно одного слова, одного запаха, одного имени на конверте — и разум услужливо достраивает бездну там, где была только яма.

Я повторил это про себя несколько раз.

Но почему-то не стало легче.

Вечером я пришёл домой поздно. Долго стоял в прихожей, не снимая пальто. Комната была тёмной, только в окне отражалось моё лицо: худое, осунувшееся, с ранней сединой у висков. Лицо человека, который привык объяснять чужое прошлое, потому что со своим не смог сделать ничего.

Я достал из шкафа старый чемодан.

Он пах пылью и мышинным помётом. На дне лежала шерстяная рубашка, которую я не надевал с тех времён, когда ещё ездил на север. Я провёл по ней рукой и вдруг вспомнил дом деда: низкие потолки, замёрзшие углы, железную кровать у стены, ведро с углём возле печи и Анну — маленькую, худую, злую от холода.

Она плакала в тот день, когда меня увозили.

Или смеялась?

Нет.

Я не мог вспомнить.

В моей памяти она стояла у окна и смотрела, как сани отходят от дома. Потом тот же образ менялся: она бежала за мной по снегу. Потом — её вообще не было. Только дед. Только его рука на моём плече. Только голос:

Когда он вернётся, не называй его прежним именем.

Я сел на край кровати.

Дыхание стало тяжёлым. Не от страха даже — от стыда.

Я оставил их там. Деда. Анну. Дом на краю города. Все эти годы я говорил себе, что был ребёнком, что взрослые решили за меня, что жизнь потом сама разошлась дорогами. Но правда была проще и хуже.

Я не вернулся, потому что не хотел помнить.

А теперь дед умер.

И мёртвый старик, который всю жизнь молчал о прошлом, просил меня вспомнить лампу.

На следующий день я подал заявление об отпуске.

Заведующий кафедрой, Аркадий Моисеевич Суханов, долго смотрел на меня поверх узких очков. Он всегда так смотрел: будто не слушал человека, а сверял его с какой-то внутренней ведомостью и заранее знал, где найдёт ошибку.

— Всё в порядке, Виктор Сергеевич?

Вопрос был вежливый, но сухой. Суханов не любил чужих бед. Не из жестокости — просто беды нарушали расписание.

— Умер родственник, — сказал я.

Он поджал губы, кивнул и потянулся к перьевой ручке. Слова соболезнования произнёс правильно, почти без запинки, как фразу, которую человек за жизнь подписывал чаще, чем говорил.

Потом поставил подпись.

Чернила легли жирной чёрной полосой. Мне почему-то показалось, что эта линия отрезала меня от прежней жизни куда надёжнее любого билета.

Потом я купил билет.

До Варежска прямых дорог не было. Сначала нужно было добраться ночным поездом до станции Ледовая — дальше железная дорога не шла. Оттуда, если позволяла погода, раз в несколько дней поднимался маленький почтовый самолёт. Он летел на север, к посёлку у старого рудника, где уже начиналась последняя часть пути.

Дальше оставалась только дорога через Волчий перевал.

Дорога — громкое слово. На карте она была проведена тонкой красной линией, но я знал, что за этой линией скрывались снег, камень, обледеневшие спуски и шофёры, которые брались ехать только за двойную плату или по приказу.

В расписании этот путь выглядел почти разумно.

На бумаге всегда так.

Поезд приходил по времени. Самолёт вылетал по разрешению. Машина ожидала у почтовой конторы. Дорога занимала один день. Человек, писавший это расписание, либо никогда не был севернее Ледовой, либо был редким мерзавцем с хорошим чувством юмора.

На деле всё зависело от ветра, льда, горячего, настроения шофёра и того, не занесёт ли Волчий перевал к чёртовой матери.

Я смотрел на карту, разложенную на столе, и видел, как аккуратная красная линия дороги истончается после Нижнего Кожима, потом превращается в пунктир, а перед самым Варежском исчезает совсем. Будто картографу надоело врать.

Варежск был обозначен маленьким кружком у края обжитой земли.

Но я знал: карты лгут сильнее всего именно там, где дороги кончаются раньше, чем человеческое упрямство.

В ночь перед отъездом я не спал.

Лежал в темноте и слушал, как в трубах ходит вода. Иногда казалось, что это не трубы, а далёкие удары металла о камень. Размеренные. Глухие. Как будто где-то глубоко под домом работали кирками.

Под утро я всё-таки задремал.

Мне приснилась шахта.

Я стоял в тоннеле, босой, в одной рубашке, и держал лампу. Пламя внутри стекла было не жёлтым, а белым, холодным, как зимнее небо. Впереди тянулись рельсы, уходящие в темноту. По стенам стекала вода, но капли падали вверх.

Из глубины шёл человек.

Сначала я решил, что это дед. Потом понял, что ошибся. Он был выше, прямее, моложе. На нём была одежда чужого покроя: длинная, грубая, стянутая ремнями. Лицо скрывала тень.

Он остановился на расстоянии нескольких шагов и сказал:

— Ты слишком долго отсутствовал.

Я хотел спросить, кто он.

Но проснулся раньше, чем успел открыть рот.

За окном занимался серый рассвет.

Я проснулся не сразу. Несколько секунд лежал неподвижно, глядя в потолок, и не мог понять, почему в комнате так холодно. Окно было закрыто. Печь в соседней квартире уже гудела — через стену тянуло сухим теплом. На полу возле кровати лежала моя рубашка, сброшенная вечером, рядом — раскрытый чемодан.

Потом я вспомнил письмо.

Оно лежало на столе, сложенное по прежним сгибам. Рядом стоял стакан с недопитым чаем. На поверхности чая плавала тонкая мутная плёнка.

Я сел.

Голова была тяжёлая, будто я не спал, а всю ночь таскал мешки с углём. Во рту пересохло. Под глазами чувствовалась тупая боль, знакомая по бессонным ночам перед экзаменами и кафедральными проверками.

На столе, у самого края письма, лежала тонкая чёрная полоска.

Я некоторое время смотрел на неё.

Потом встал, подошёл ближе и коснулся пальцем.

Пыль.

Чёрная, сухая, мелкая.

Я растёр её между большим и указательным пальцем. На коже остался тёмный след. Угольная крошка. Или сажа. Или грязь с подоконника. Что угодно, только не повод стоять посреди комнаты в исподнем и пялиться на стол, как последний идиот.

— Ну конечно, — сказал я вслух. — Уголь. Прямо из сна. Очень убедительно.

Голос прозвучал хрипло и раздражённо.

Я осмотрел стол. Письмо. Нож для бумаги. Книги. Старую карту северной ветки, которую достал накануне. Ничего необычного. Окно плотно закрыто. Подоконник грязный, но не настолько, чтобы с него сыпалась чёрная пыль. Печи у меня не было. Дом отапливался общей котельной.

Я снова посмотрел на пальцы.

След был настоящим.

Это меня и злило.

Сны можно было списать на усталость, письмо — на вину, дрожь — на недосып. Но грязь на пальцах требовала простого объяснения.

Я вспомнил чемодан.

Наклонился, поднял со дна старую шерстяную рубашку и встряхнул её. Из ткани действительно посыпалась пыль. Не много — едва заметно, но достаточно. Я усмехнулся.

— Вот и всё, чёрт возьми.

Рубашка лежала в шкафу годами. Шкаф старый. Дом старый. Грязи хватало. Я мог вечером вытащить её, положить на стол, потом забыть. Мозг достроил остальное, потому что ему дали слово лампа и старую рубашку с запахом пыли.

Объяснение было не красивым, зато нормальным.

Я умылся холодной водой. Долго держал ладони под краном, пока пальцы не занемели. В зеркале над раковиной стоял человек с серым лицом и красными глазами. Щетина за ночь проступила сильнее, чем обычно. На висках седина казалась почти белой.

— Прекрасный вид для похорон, — сказал я.

Собственный голос в пустой комнате начал раздражать. Я замолчал.

Собирался я быстро. Две рубашки, тёплые носки, бритва, записная книжка, документы, деньги, билет. Потом подумал и положил в чемодан толстую тетрадь в клеёнчатой обложке. Не знаю зачем. Наверное, привычка. Историк без тетради чувствует себя голым, даже если едет хоронить деда.

Письмо Анны я убрал во внутренний карман пальто.

Перед выходом задержался у двери и оглядел комнату. Не потому, что ожидал увидеть что-то странное. Просто было такое чувство, будто я оставляю её надолго. Кровать не заправлена. На столе меловая пыль, книги, чашка. На спинке стула висит галстук. Всё это выглядело не как дом, а как место, из которого человек вышел на минуту и не вернулся.

Я выругался тихо, под нос, и захлопнул дверь.

На улице было ещё темно.

Снег за ночь перешёл в мелкую ледяную крупу. Она шуршала по воротнику и забивалась в складки пальто. Дворник, старик по фамилии Костров, которого жильцы звали просто Костыль, скрёб лопатой у подъезда. Одну ногу он тянул с войны, но работал злее и быстрее многих здоровых.

Он поднял голову.

— В дорогу, Виктор Сергеевич?

Я остановился на ступеньке.

— С чего взяли?

Костыль кивнул на чемодан.

— С чемоданом обычно не в баню ходят.

Ответить было нечего. Я спустился ниже.

— Родственник умер.

— Север?

Я посмотрел на него внимательнее.

— Почему север?

Костыль пожал плечом и снова воткнул лопату в снег.

— Пальто тёплое надели. И лицо такое, будто не к теще едете.

Он сказал это без насмешки. Просто отметил факт. Я не любил, когда люди попадали в точку случайно.

— До свидания, — сказал я.

— Дорога нынче скверная, — произнёс он мне вслед. — По радио ночью передавали.

— Дороги у нас всегда скверные.

— Это да.

Он снова заскрёб лопатой.

Я вышел со двора и пошёл к трамвайной остановке. Чемодан бил по колену. Рука быстро устала. Ветер шёл навстречу, острый, с запахом дыма и мокрого железа. Город просыпался нехотя: в окнах загорались редкие жёлтые квадраты, где-то хлопнула дверь булочной, по мостовой протацилась первая грузовая машина.

У остановки уже стояли трое. Женщина с корзиной, солдатик в шинели и мужчина в рыжей шапке, который курил, спрятав папиросу в ладони от ветра. Никто не говорил.

Трамвай пришёл с визгом, будто его вытянули из ночи за ржавую цепь.

Я вошёл последним, поставил чемодан у ног и сел у окна. Стекло было покрыто мутными разводами, и город за ним плыл, распадаясь на серые пятна. Университетский корпус остался позади. Потом — площадь, книжная лавка, мост через чёрную воду канала.

Я пытался думать о дороге.

О расписании. О пересадке на станции Ледовая. О том, где достать место на почтовый самолёт, если его вообще поднимут. О том, кто встретит меня за перевалом. Анна не написала. Значит, либо не знала, либо считала, что я сам разберусь.

Это было на неё похоже.

В детстве она тоже считала, что я должен разбираться сам. Даже когда мы оба не понимали ни черта.

Трамвай дёрнулся. Чемодан ударил меня по голени. Я поморщился.

На вокзале пахло мокрой древесиной, паром, махоркой и дешёвой кашей из буфета. Под высоким потолком висел сизый дым. Люди стояли плотными кучками, берегли тепло и молчали так, как молчат только рано утром перед дальней дорогой.

На табло мелом было выведено:

Северная линия. Поезд 17. До станции Ледовая.

Я смотрел на эти слова дольше, чем требовалось.

Ледовая.

Название было правильным. Не красивым, не старинным, не важным. Просто Ледовая. Место, где железо ещё соглашалось идти вперёд, а дальше человек уже должен был договариваться с погодой, шофёрами и собственной дуростью.

Я нашёл свой вагон ближе к концу состава. Проводница, плотная женщина с красными руками, проверила билет и сказала:

— Девятое место. Верхнее.

— У меня нижнее.

Она посмотрела в билет ещё раз.

— Нижнее, — согласилась она без всякого сожаления. — Значит, нижнее.

На её груди висела табличка: М. Р. Корнеева. Но кто-то из носильщиков, проходя мимо, назвал её Марфой Рельсой. Она даже не повернула головы. Видимо, привыкла.

Купе оказалось полупустым. У окна сидел старик в овчинном тулупе и держал на коленях перевязанный ремнём ящик. От ящика пахло сухой рыбой. Старик кивнул мне так, будто мы уже были знакомы и оба этим недовольны.

Я поставил чемодан под сиденье.

Поезд тронулся не сразу. Сначала долго вздыхал, лязгал сцепками, выпускал пар. Потом где-то далеко ударил металл, и вагоны потянулись один за другим.

Город за окном начал медленно отходить назад.

Я достал письмо Анны, но читать не стал. Просто держал его в кармане, чувствуя через ткань жёсткий край бумаги.

Я ехал на север.

И пока это было единственным фактом, который не требовал объяснений.

Поезд долго выбирался из города. Сначала за окном тянулись кирпичные склады, заборы с облезлыми объявлениями, чёрные дворы, где ранние люди уже таскали ведра и ругались у колонок. Потом пошли фабричные трубы, пустыри, редкие будки стрелочников. Снег лежал грязными пластами, будто город за ночь пытался укрыться, но не сумел.

Старик напротив молчал.

Он сидел у окна, не снимая тулупа, и держал ящик двумя руками, хотя тот был перевязан крепко. Лицо у него было узкое, с проваленными щеками и красными прожилками на носу. На правом ухе не хватало мочки. То ли обморозил, то ли отрезало где-нибудь на лесоповале. Такие вещи на севере часто не объясняли. Считалось, что если человек остался жив, подробности уже не имеют значения.

Я заметил, что он не смотрит в окно.

Люди в поезде обычно смотрят. Даже если едут знакомой дорогой, всё равно глядят на поля, станции, чужие дома, на то, как мир отступает назад. Этот старик смотрел на отражение в стекле. Не на своё. На меня.

Я сделал вид, что не заметил.

— Далеко? — спросил он наконец.

Голос у него был сухой, как бумага.

— До Ледовой.

— Дальше?

Я поднял глаза.

— Варежск.

Старик кивнул не сразу. Сначала его пальцы сильнее сжали ремень на ящике. Мелочь. Почти ничего. Но я это увидел.

— Варежск, — повторил он. — Значит, к рудникам.

— К родственникам.

— Там все к кому-нибудь едут. К рудникам всё равно ближе.

Он сказал это без улыбки. Потом отвернулся к окну, но смотреть снова стал не наружу, а в мутное стекло.

Я не любил разговоры с попутчиками. Особенно с такими, которые задают вопрос не потому, что им интересно, а потому что им нужно проверить ответ.

— Вы оттуда? — спросил я.

— Нет.

Слишком быстро.

Я усмехнулся.

— Тогда знаете много для человека не оттуда.

Старик повернул ко мне голову. В его глазах не было ни обиды, ни удивления. Только усталость.

— Про такие места все что-нибудь знают.

— Обычно это называется слухами.

— Обычно, — согласился он.

На этом разговор оборвался.

Поезд набирал ход. Колёса били по стыкам ровно, с такой упрямой механической уверенностью, что через час от этого звука начинала ныть голова. В коридоре прошла Марфа Рельса, поставила на столик два стакана в подстаканниках и сказала:

— Чай. Кто просил?

— Я не просил, — сказал я.

— Значит, будете должны не мне, а судьбе.

Она поставила стакан передо мной и пошла дальше, не дожидаясь ответа.

Я посмотрел ей вслед. Плечи широкие, походка тяжёлая, уверенная. Женщина из тех, кто мог остановить драку одним взглядом и, наверное, умела выкидывать пьяных с поезда ещё до того, как они понимали, что пьяны. Прозвище Рельса подходило ей лучше, чем инициалы на табличке.

Чай был тёмный, слишком крепкий, с плавающими чайнками. Я сделал глоток и обжёг язык.

Старик напротив своего стакана не тронул.

— Рыба протухнет, — сказал я, кивнув на ящик.

Он посмотрел на него так, будто на секунду забыл, что держит.

— Не рыба.

— Пахнет рыбой.

— Значит, хорошо упаковано.

Разговор становился глупым. Я мог бы промолчать. Нормальный человек так бы и сделал. Но меня раздражали его короткие ответы, его ящик, его взгляд в стекло, его дурацкое про такие места все что-нибудь знают.

— Что там? — спросил я.

Старик медленно поднял на меня глаза.

— То, что не ваше.

— Логично.

Я отвернулся к окну.

За стеклом уже не было города. Только редкие деревни, чёрные полосы лесополос, поля под снегом и столбы, уходящие вдоль пути. На одной маленькой станции поезд замедлился, но не остановился. Я успел прочитать название на покосившейся доске: Мыший Бор. У платформы стояли двое мужчин с мешками. Один поднял руку, будто хотел остановить состав, но поезд прошёл мимо.

Я подумал, что север начинается не там, где становится холоднее. Север начинается там, где человеку перестают обещать, что его обязательно подберут.

К полудню вагон немного ожил. В соседнем купе спорили о карточках на хлеб. Кто-то ругался с проводницей из-за верхнего места. В коридоре плакал ребёнок, потом резко затих, словно мать закрыла ему рот ладонью. Поезд пах углём, мокрой одеждой, кипятком и человеческим сном.

Я достал из портфеля тетрадь в клеёночной обложке.

Сначала хотел записать маршрут, время отправления, фамилию проводницы, имя старика, если узнаю. Привычка. Когда не понимаешь, что происходит, записывай факты. Факты хотя бы не требуют веры.

Но ручка зависла над страницей.

Я написал только:

Ледовая. Варезск. Анна. Дед. Лампа.

Посмотрел на эти пять слов и почувствовал злость.

Пять слов, а ведут себя как следовательский протокол. Только обвиняемым в нём был я сам.

Я зачеркнул лампа.

Потом ещё раз.

Чернила расплзлись по бумаге тёмным пятном.

Старик напротив заметил это. Я видел по его глазам.

— Писатель? — спросил он.

— Историк.

— Один чёрт. И те и другие чужое ворошат.

— Историки хотя бы делают это по документам.

— Документы тоже люди пишут.

Это была банальная фраза. Почти глупая. Но сказал он её так, будто речь шла не о бумаге, а о могилах.

— У вас есть имя? — спросил я.

— Есть.

— И какое?

— Пахом.

— Просто Пахом?

— А вам для книги или для протокола?

Я закрыл тетрадь.

— Для приличия.

— Тогда просто Пахом.

Он снова опустил взгляд на ящик.

Пахом. Имя подходило ему: короткое, старое, сухое. Как сучок в промёрзшей доске.

Ближе к вечеру поезд остановился на большой узловой станции. Название я увидел не сразу — стекло покрылось льдом изнутри. Пришлось протереть рукавом. На табличке было написано: Сухоречье.

Стоянка — двадцать минут.

Пассажиры повалили наружу за кипятком, махоркой, газетами, горячими пирожками неизвестного происхождения. Я тоже вышел. Не потому что хотел есть. Просто в вагоне стало душно, а мне нужно было почувствовать под ногами землю, даже если эта земля была утоптана сотнями таких же усталых подошв.

На платформе ветер ударил в лицо.

Я сразу пожалел, что вышел без шарфа.

Сухоречье было серым, закопчённым местом с длинным деревянным навесом и двумя керосиновыми фонарями, хотя день ещё не закончился. У стены стояла очередь к кипятку. За ней — будка с газетами. Над окошком висела рукописная табличка: Северный вестник. Свежий номер.

Я купил газету больше от скуки, чем от интереса.

Продавец, мальчишка лет шестнадцати с обмороженными губами, бросил взгляд на мой билет, торчавший из кармана пальто.

— До Ледовой?

— До Ледовой.

— Там сегодня задержка будет.

— Почему?

— Ветер.

Он сказал это так, будто ветер был не погодой, а начальством.

— Часто?

— Там? — мальчишка хмыкнул. — Там всё часто.

Я взял газету и уже собирался уйти, когда он добавил:

— Вы к кому?

Я остановился.

— Что?

— В Ледовой делать нечего. Значит, дальше.

— Тебе какое дело?

Мальчишка сразу отвёл глаза.

— Никакого.

Вот это мне не понравилось.

Не сам вопрос. Люди любопытны, особенно на станциях, где каждый чужой человек — маленькое событие. Мне не понравилось, как он отступил. Быстро. Будто не испугался меня, а вспомнил, что спрашивать не следовало.

— Слушай, — сказал я. — Ты всех так расспрашиваешь?

Он пожал плечами.

— Нет.

— Тогда почему меня?

— Лицо у вас такое.

— Какое?

Он посмотрел куда-то мне за плечо.

— Как у тех, кто возвращается.

Глупая фраза. Мальчишеская, театральная, подслушанная, наверное, у пьяных грузчиков или у старух в очереди за керосином.

Я мог бы просто уйти.

Вместо этого сказал:

— Не повторяй чужую дурь. Зубы целее будут.

Мальчишка покраснел, но ничего не ответил.

Я вернулся к вагону злой. На себя — больше, чем на него. Ругаться с газетчиком из-за пары слов было ниже моего достоинства. Но последние сутки моё достоинство вообще вело себя неуверенно: то вспыхивало, то пряталось, то требовало от меня доказать кому-то неизвестно что.

У входа в вагон Марфа Рельса курила, спрятав папиросу в кулаке.

— Скоро тронемся? — спросил я.

— Когда начальник станции докурит и Господь разрешит.

— Второе официально входит в расписание?

Она посмотрела на меня без улыбки.

— На северной линии — да.

Я поднялся в вагон.

Пахом сидел на прежнем месте. Ящик всё так же лежал у него на коленях. Чай перед ним остыл нетронутым.

— Вы не выходили, — сказал я.

— Нет.

— Боишься, украдут?

Он погладил ремень большим пальцем.

— Не украдут.

— Тогда что?

Пахом посмотрел в окно. На платформе мальчишка из газетной будки стоял под навесом и смотрел на наш вагон. Когда заметил мой взгляд, отвернулся.

— Есть вещи, которые нельзя оставлять без присмотра, — сказал Пахом.

Я сел напротив.

— Очень содержательно.

Он не ответил.

Поезд тронулся уже в сумерках.

Сухоречье осталось позади. За окном быстро темнело. Лес подступил ближе к путям. Сосны стояли неподвижно, чёрные, тесные, будто смотрели, как поезд ползёт между ними, и ждали, когда он устанет.

Я развернул газету.

На первой полосе были обычные новости: заседание, план добычи, открытие клуба, отчёт о заготовке древесины. Всё написано тяжёлым казённым языком, от которого даже хорошие события начинали пахнуть плесенью.

На второй странице я увидел маленькую заметку.

В районе Варезского тракта пропал почтовый грузовик.

Я прочитал её один раз.

Потом второй.

Ничего особенного. Машина вышла из Ледовой три дня назад и не прибыла в назначенный пункт. Водитель — Григорий Нестеров, по прозвищу Нестер. С ним находился помощник, фамилия не указана. Предположительно задержались из-за метели. Организованы поиски.

Обычная северная заметка.

Машины там пропадали не потому, что мир был наполнен тайнами, а потому что люди строили дороги там, где здравый смысл советовал сидеть дома. Метель, плохая резина, замёрзший двигатель, пьяный водитель, обвал на перевале — причин хватало.

Я сложил газету.

Потом снова развернул и посмотрел на дату.

Номер был свежий. Сегодняшний.

Почтовый грузовик должен был идти по тому самому участку, по которому через день или два должен был ехать я.

— Дерьмо, — сказал я тихо.

Пахом поднял глаза.

— Что?

— Ничего.

Я убрал газету в портфель.

Несколько минут мы ехали молча. В коридоре погасла одна лампа, и проводница ударила по ней ладонью. Лампа вспыхнула снова, но свет стал неровным, жёлтым, больным. Он качался на стенах вместе с движением вагона.

Я закрыл глаза.

Не спать. Просто дать глазам отдых. Голова болела от стука колёс, от газетной заметки, от разговора с мальчишкой, от письма в кармане. От всего сразу.

Когда поезд вошёл в лес окончательно, звук изменился.

Это трудно объяснить. Колёса били так же. Сцепки лязгали так же. Но за этим появился другой гул — низкий, тягучий, будто где-то далеко под землёй катили пустые вагонетки.

Я открыл глаза.

Пахом тоже не спал.

Он сидел очень прямо и смотрел в окно. Не в отражение теперь. Наружу.

— Слышите? — спросил я.

Он не ответил.

— Пахом.

— Рельсы, — сказал он.

— Я знаю, как звучат рельсы.

— Тогда зачем спрашиваете?

Раздражение поднялось быстро.

— Потому что спрашиваю не о рельсах.

Он медленно повернул ко мне голову.

— А о чём?

Я хотел сказать: о гуле. О звуке под поездом. О том, что он похож на шахту, хотя до шахт ещё чёрт знает сколько пути.

Но не сказал.

Потому что стоило произнести это вслух, как мысль стала бы настоящей. А я не соби-
рался помогать собственному воображению.

— Ни о чём, — сказал я. — Забудьте.

Пахом кивнул.

— Это полезно. Забывать.

Я посмотрел на него.

— Вы всегда говорите так, будто знаете больше остальных?

— Нет.

— А сейчас?

— Сейчас вы сами всё слышите.

Поезд шёл на север.

За окном не было видно ничего, кроме чёрного леса и редких белых вспышек снега в свете вагонных окон.

Я сунул руку в карман и снова нашупал письмо Анны.

Край бумаги был жёстким.

Настоящим.

Обычная бумага. Обычное письмо. Обычная дорога на похороны.

Я повторил это про себя несколько раз.

Потом поезд резко дёрнулся.

Где-то впереди протяжно взвизгнули тормоза. Стакан на столике пополз к краю, чай выплеснулся на газету. В коридоре кто-то выругался. Из соседнего купе донёсся испуганный женский вскрик.

Состав замедлялся.

Не на станции. Станции здесь не было. Я точно знал: последнюю мы прошли больше часа назад, до следующей оставалось ещё далеко.

Поезд остановился среди леса.

Сначала все молчали.

Потом по вагону пошёл тот особый шум, который возникает, когда люди ещё не знают, случилось ли что-то серьёзное, но уже готовы испугаться. Зашуршали пальто, открылись двери купе, кто-то спросил проводницу, почему стоим. Марфа Рельса прошла по коридору быстро, не отвечая.

Я поднялся и выглянул в окно.

Снаружи была ночь.

Снег.

Лес.

И впереди, далеко у насыпи, дрожал маленький огонь.

Не фонарь.

Не сигнальная лампа.

Обычный жёлтый огонь, будто кто-то стоял у путей с керосиновой лампой в руке.

Я прижался лбом к холодному стеклу.

Огонь был далеко, но не настолько, чтобы принять его за случайный отблеск. Он двигался. Медленно, почти незаметно, как двигается рука человека, который держит лампу и переступает по снегу.

В вагоне стало тесно от голосов.

— Чего стоим?

— Станция?

— Какая станция, лес же.

— Может, стрелка?

— Тут стрелок нет.

Кто-то толкнул меня плечом, протискиваясь к окну. Я отступил. Не потому, что хотел уступить, а потому что не любил стоять в толпе, когда люди начинали бояться. Страх быстро портит воздух. Люди ещё не знают, чего именно бояться, но уже дышат часто, говорят громче, цепляются за чужие рукава.

Марфа Рельса появилась в конце коридора.

— По местам, — сказала она. — Всем сидеть. Сейчас разберутся.

— Что там? — спросил мужчина из соседнего купе, лысоватый, в хорошем пальто с меховым воротником.

— Если узнаю — доложу лично вам, товарищ министр.

Кто-то нервно хмыкнул.

Мужчина хотел возмутиться, но посмотрел на Марфу и передумал. Правильно сделал. С такой женщиной лучше спорить только при наличии письменного приказа и двух свидетелей.

Я вернулся в купе.

Пахом сидел на месте. Ящик на коленях. Спина прямая. Он не выглядел испуганным. И это раздражало сильнее, чем если бы он трялся.

— Вы видели? — спросил я.

— Что?

— Не прикидывайтесь.

Он поднял глаза.

— Огонь видел.

— И?

— Огонь и есть огонь.

— Очень содержательно.

Пахом посмотрел на окно. Стекло уже затягивало изнутри мутным морозным налётом. Огонь снаружи расплылся, стал похож на жёлтое пятно в воде.

— В лесу люди бывают, — сказал он.

— Ночью? У путей? С лампой?

— А вы хотели, чтоб с оркестром?

Я усмехнулся, хотя смешно не было.

— Ладно. Значит, человек с лампой. Что он делает у насыпи?

— Может, поезд остановил.

— Поезда лампами не останавливают.

— Иногда останавливают.

— Вы железнодорожник?

— Нет.

— Тогда откуда знаете?

Пахом помолчал. Его пальцы опять легли на ремень ящика.

— Жил долго.

Ответ был дурацкий. Из тех ответов, которыми старики прикрывают нежелание говорить. Я отвернулся.

В коридоре хлопнула дверь тамбура. Потом другая. Холодный воздух быстро прошёл по вагону, и люди разом притихли. В таких местах холод входил не как погода, а как власть: сразу напоминал, кто здесь главный.

Я выглянул в коридор.

Марфа стояла у двери и разговаривала с начальником поезда — сухим мужчиной в тёмной фуражке. На лице у него было выражение человека, которого разбудили не вовремя и сразу обвинили во всём, что случилось за последние десять лет.

— Пассажиров не выпускать, — сказал он.

— Они сами не дураки, — ответила Марфа.

— Вы их плохо знаете.

Он заметил меня.

— Товарищ, в купе.

— Что произошло?

— Техническая остановка.

— Посреди леса?

— Техника места не выбирает.

Хороший ответ. Пустой, но официальный. Такие ответы я слышал на кафедральных заседаниях, когда никто не хотел произносить слово провал.

— Я видел огонь у путей, — сказал я.

Начальник поезда посмотрел на меня внимательнее.

— Какой огонь?

— Жёлтый. Впереди, у насыпи.

Он перевёл взгляд на Марфу.

Та пожала плечом.

— Полвагона видело.

Начальник выругался почти беззвучно. Не грубо, а устало, как человек, у которого неприятности шли по расписанию точнее поездов.

— В купе, — повторил он.

— Мне просто интересно.

— А мне просто некогда.

Он пошёл дальше по коридору. Марфа осталась у двери.

Я задержался.

— Часто такое бывает? — спросил я.

— Что именно?

— Огонь у путей.

— На севере всякое бывает.

— Опять эта чушь.

Она посмотрела на меня тяжело.

— Какая?

— На севере всякое бывает. Про такие места все что-нибудь знают. Дальше лучше не ехать. У вас тут, кажется, целая школа пустых фраз.

Марфа затянулась папиросой, хотя курить в коридоре было нельзя. Видимо, ей было плевать.

— Вы кто по профессии?

— Историк.

— Тогда должны знать: пустые фразы дольше всего живут не просто так.

Я хотел ответить резко. Уже даже нашёл подходящее слово. Но в этот момент снаружи донёлся свисток.

Не паровозный.

Человеческий.

Короткий, высокий, режущий. Он пришёл из леса, откуда-то впереди состава, и тут же оборвался.

В вагоне замолчали.

Даже те, кто стоял в коридоре, перестали шептаться.

Марфа медленно вынула папиросу изо рта.

— Вот теперь все по местам, — сказала она уже другим голосом.

И тут погас свет.

Не во всём поезде. Только в нашем вагоне. Лампы моргнули, вытянулись в тонкие жёлтые нити и умерли. Несколько секунд стояла полная темнота, а потом снаружи, через окна, в вагон вполз слабый снежный свет.

Кто-то вскрикнул.

Ребёнок заплакал.

— Спокойно! — крикнула Марфа. — Сидеть!

Я стоял посреди коридора, держась рукой за холодную стенку. Сердце билось слишком быстро. Это было нормальной реакцией на темноту, крики и остановку в лесу. Никаких пророчеств — только организм.

Где-то у начала вагона загредел металл. Дверь тамбура открылась снова. Внутри ворвался ветер, снег и мужской голос:

— Марфа! Фонарь сюда!

— У меня пассажиры!

— Фонарь, говорю!

Она сплюнула под ноги, открыла маленький шкаф у проводницкого места и достала ручной фонарь. Свет от него был слабый, но настоящий. Обычный электрический фонарь, с мутным стеклом и вмятиной на боку. Никакой керосиновой дряни.

Я почему-то отметил это с облегчением.

Марфа пошла к тамбуру.

Я двинулся за ней.

— Куда? — спросила она, не оборачиваясь.

— Посмотрю.

— Сядете.

— Я не ребёнок.

Она остановилась так резко, что я едва не врезался ей в спину.

— Именно поэтому должны понимать с первого раза.

— Что там?

— Не знаю.

— Тогда почему не хотите, чтобы я видел?

Она медленно повернулась.

В полутьме её лицо казалось грубым и усталым. Без злости. Даже без раздражения. Просто лицо человека, который слишком много раз видел, как чужое любопытство превращается в работу для других.

— Потому что когда человек в чистом пальто выходит ночью в лес смотреть, почему остановился поезд, он обычно не помогает. Он мешает, мёрзнет, падает, лезет под ноги и потом требует кипятку.

— Я не в чистом пальто.

— Значит, наполовину умнее.

Она ушла в тамбур и захлопнула дверь.

Я остался в коридоре.

Пассажиры смотрели на меня так, будто я обязан был теперь объяснить им всё, раз уж задавал вопросы. Я не объяснил. Вернулся в купе.

Пахом сидел в темноте.

В слабом свете из окна его лицо стало почти плоским. Только нос, скулы и белёсые глаза.

— Не выпустили? — спросил он.

— Заметили?

— Вы громко спорите.

— А вы тихо молчите. Не знаю, что хуже.

Я сел.

Снаружи слышались голоса. Несколько человек прошли вдоль состава по снегу; скрип был тяжёлый, глубокий.

— Чего вы везёте? — спросил я Пахома.

Он не ответил.

— Слушайте, мне плевать на вашу рыбу, не рыбу, товар, краденое железо или чьи-то сапоги. Но вы едете до Ледовой. Знаете про Варезск. Не удивились огню. И держите ящик так, будто там сердце вашей матери.

Пахом посмотрел на меня долго.

— Вы злой человек, Виктор Сергеевич.

Я замер.

— Я не называл вам отчество.

— Проводница называла.

Я вспомнил.

Марфа действительно могла назвать. На посадке. Или в коридоре. Или нет. Чёрт его знает. В такие моменты память начинает работать как плохой архивариус: всё есть, но нужную папку не найти.

— Значит, внимательный, — сказал я.

— Старый.

— Это не одно и то же.

— Когда доживёте, поймёте, что почти одно.

Снаружи снова свистнули.

На этот раз ближе.

В купе стало очень тихо.

Я услышал, как Пахом втянул воздух носом. Медленно. Без паники. Но он услышал тоже.

— Это железнодорожники? — спросил я.

— Может быть.

— А если нет?

— Тогда лучше, чтобы были.

Я сжал зубы.

— У вас талант говорить так, чтобы хотелось ударить.

— У вас талант спрашивать то, на что не хотите слышать ответ.

Я встал и снова подошёл к окну.

Мороз на стекле лег неровными пятнами. Я протёр его ладонью. Стекло тут же обожгло кожу.

Снаружи было почти ничего не видно. Только чёрные стволы, белая насыпь, слабые пятна фонарей возле головы поезда. Люди там двигались осторожно. Их было трое или четверо. Один держал фонарь. Другой наклонился к рельсам.

А дальше, чуть левее, между деревьями, опять горел жёлтый огонь.

Теперь ближе.

Я не сразу понял, почему мне это не понравилось.

Потом понял.

Огонь был не впереди поезда.

Он был сбоку.

У леса.

Как будто тот, кто держал лампу, перешёл от насыпи к деревьям за то время, пока я спорил с Марфой. Но следов я не видел. Слишком темно. Слишком много снега. Слишком далеко.

Я прищурился.

Огонь качнулся.

И исчез.

Не погас. Не заслонился. Просто исчез сразу, будто кто-то закрыл ладонью глаз.

— Видели? — спросил я.

Пахом не подошёл к окну.

— Нет.

— Вы даже не смотрели.

— Потому и не видел.

Я повернулся к нему.

— А вы не хотите смотреть?

— Нет.

— Почему?

Пахом положил ладонь на крышку ящика.

— Потому что есть вещи, которые от взгляда ближе становятся.

Я выдохнул сквозь зубы.

— Господи, какая же муть.

Сказал грубо, нарочно. Хотел, чтобы фраза разбила напряжение. Чтобы всё это стало деревенской чушью: старик, ночь, лампа, лес, суеверия. Чтобы я мог разозлиться и этим вернуть себе нормальную почву под ногами.

Но почва была далеко.

Под нами были рельсы, снег и тёмная земля.

Свет в вагоне вернулся внезапно. Лампы вспыхнули разом, кто-то в коридоре ахнул, ребёнок перестал плакать на середине всхлипа. Жёлтый электрический свет показался почти неприлично ярким. Лица пассажиров стали бледными и глупыми.

Я сел обратно.

Руки у меня замёрзли от стекла.

Минут через десять в купе заглянула Марфа.

— Живы?

— Пока да, — сказал я. — Что случилось?

Она посмотрела на Пахома, потом на меня.

— На путях дерево.

— Дерево?

— Да. Берёза. Упала поперёк.

— Ветра почти нет.

— Значит, устала стоять.

— Марфа Родионовна

— Что?

Она впервые за всё время назвала меня не по имени, а взглядом. Так смотрят люди, которые предупреждают: не лезь.

Я всё равно спросил:

— А огонь?

— Какой огонь?

— Тот, который видел весь вагон.

— Может, путеец.

— Здесь есть путейцы?

— Где есть путь, там иногда есть путеец.

— Удобно.

— Не то слово.

Она уже собиралась уйти, но я заметил на её валенке тёмное пятно. Снег растаял, и к подошве прилипла грязь. Не обычная дорожная, не глина. Чёрная мелкая крошка.

Уголь.

На железной дороге угля хватало везде. В тендере, на платформе, между шпал. Ничего странного.

Но крошка была свежая, мокрая, будто она наступила не возле паровоза, а в старую шахт-ную пыль.

— Вы ходили к началу состава? — спросил я.

— Ходила.

— Там дерево?

— Я же сказала.

— Берёза?

— Хотите породу уточнить? Могу принести ветку, будете в кафедре изучать.

— Не надо.

Она ушла.

Поезд стоял ещё почти час.

За это время пассажиры успели испугаться, устать от собственного испуга и начать злиться. Это хороший признак. Злость обычно означает, что люди снова поверили в обычный порядок вещей. Если человек ругает железную дорогу, значит, он ещё не верит в беду.

Я тоже пытался злиться.

На Марфу. На Пахома. На газетчика в Сухоречье. На Анну, которая не могла написать нормально, что случилось. На деда, который умер так не вовремя, будто смерть у него тоже была частью какого-то непонятого расписания.

Больше всего — на себя.

Потому что я всё ещё думал о лампе.

Когда состав наконец дёрнулся и медленно пошёл дальше, по вагону прокатился облег-чённый шум. Кто-то перекрестился. Кто-то сразу начал рассказывать, как сразу понял, что ничего серьёзного. В соседнем купе открыли бутылку. Марфа прошла по коридору и пригро-зила высадить всех пьющих прямо в лесу, если услышит песни.

Пахом закрыл глаза.

Я смотрел в окно.

Леса за стеклом больше не было видно. Только моё отражение: вытянутое лицо, тёмные круги под глазами, воротник пальто, поднятый слишком высоко. Позади, в отражении, сидел Пахом со своим ящиком.

И вдруг я увидел ещё одно движение.

Не в купе.

В стекле.

За моей спиной, в коридоре, на мгновение будто прошёл человек с лампой.

Я резко обернулся.

Коридор был пуст.

Только качалась на потолке электрическая лампа.

Я встал, вышел и прошёл до тамбура. Никого. Двери купе закрыты. У проводницкого места Марфа считала билеты и что-то записывала в журнал.

— Что опять? — спросила она, даже не подняв головы.

— Ничего.

— Хорошее слово. Пользуйтесь чаще.

Я вернулся.

Пахом открыл один глаз.

— Нашли?

— Что?

— То, что искали.

— Я ничего не искал.

— Тогда тем более.

Я сел и достал газету. Делать вид, что читаю, оказалось проще, чем делать вид, что спокоен. Буквы расплывались. Я поймал себя на том, что уже несколько минут смотрю на одну и ту же строку про перевыполнение плана лесозаготовки.

Потом взгляд сам опустился к заметке о пропавшем грузовике.

Григорий Нестеров. Нестер.

Я не знал этого человека и не имел причин связывать его с остановкой поезда, лампой у леса, ящиком Пахома или письмом Анны.

Именно поэтому заметка не понравилась мне больше всего.

Я сложил газету и убрал её подальше. Рядом с ней всё начинало связываться слишком быстро.

Был поезд. Была ночь. Был север. Была смерть деда. И был жёлтый огонь у путей, который видели не только я.

Он становится проблемой.

Поздно вечером вагон утомился. Люди спали сидя, привалившись к стенам, с открытыми ртами, с шапками на лицах. В коридоре горела одна лампа. Колёса снова били ровно. За окном иногда мелькали редкие огни разъездов, но поезд не останавливался.

Пахом не спал.

Я это знал, хотя он сидел с закрытыми глазами. У спящего человека лицо расслабляется. У Пахома оно было настороженным, как у зверя под снегом.

— Пахом, — сказал я тихо.

Он открыл глаза.

— Что в ящике?

— Вы упрямый.

— Да.

— Плохо для здоровья.

— Уже слышал.

Он посмотрел на дверь купе, потом на окно. Будто проверил, не слушает ли кто.

— Земля.

Я моргнул.

— Что?

— Земля.

— Вы везёте ящик земли?

— Да.

Я некоторое время молчал.

Потом сказал:

— Ладно. Я слышал много странного за последние сутки. Но это пока уверенно держит первое место.

— Земля с могилы.

Я пожалел, что спросил.

— Чьей?

— Не вашей.

— Прекрасно.

Я откинулся на спинку сиденья и провёл рукой по лицу.

— И зачем вы везёте землю с могилы в Ледовую?

— Не в Ледовую.

— А куда?

— Дальше.

Я медленно опустил руку.

— В Варезск?

Пахом не ответил.

Ответ и не требовался.

В купе стало холоднее. Наверное, из окна тянуло. Старые рамы, плохая замазка, северная линия. Обычное дело.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Пахом.

— Не морочьте мне голову.

— Тогда не спрашивайте так, будто хотите простого ответа.

Он наклонился, подтянул ремень на ящике и впервые за всё время убрал руки с крышки.

На дереве ящика были царапины. Старые, глубокие. И одна свежая. Свет от лампы упал на неё под углом, и я увидел знак.

Не рисунок. Не букву. Несколько коротких линий, пересекающихся так, будто кто-то пытался изобразить круг без круга — ломаный, угловатый, неправильный.

Я смотрел на него слишком долго.

Пахом заметил.

— Не знаете? — спросил он.

— Должен?

— Нет.

— Тогда к чему вопрос?

— Просто спросил.

Я резко встал, достал чемодан из-под сиденья и начал искать флягу. Воды там не было. Я и забыл, что не взял. Отлично. Историк, кандидат наук, взрослый человек, едет на север и забывает воду. Зато взял тетрадь. Можно будет записать: Умер от собственной предусмотрительности.

Пахом тихо сказал:

— Вы очень похожи на него.

Я замер.

— На кого?

Он больше не смотрел на меня. Его глаза были опущены на ящик.

— На того, к кому едете.

Пальцы сами сжались на ручке чемодана.

— Вы знали моего деда?

Пахом молчал.

— Я спросил: вы знали моего деда?

— Все кого-нибудь знают.

Я шагнул к нему, и в этот момент поезд снова резко качнуло. Не затормозил — просто вагон бросило в сторону на стыке. Я ударился плечом о полку. Боль отрезвила.

Я сел обратно.

Дышал тяжело. Глупо. Слишком тяжело для такого пустого разговора.

— Послушайте, дед умер, — сказал я тише. — Я еду на похороны. Если вы что-то знаете, говорите прямо.

Пахом поднял на меня глаза.

Впервые в них появилось что-то похожее на жалость. Мне это не понравилось ещё сильнее.

— Прямо там не говорят, Виктор Сергеевич.

— Где — там?

— Куда вы едете.

— В Варезске?

Он отвернулся к окну.

— И в Варежке тоже.

Я хотел выругаться. Уже открыл рот.

Но поезд начал замедляться.

На этот раз плавно, положенно, без визга тормозов. За окном появились первые огни. Низкие, редкие, тусклые. Потом чёрные силуэты построек, забор, водонапорная башня, длинная платформа под снегом.

Проводница прошла по коридору, стуча по дверям.

— Ледовая! Стоянка сорок минут! Кто дальше — вещи не забываем! Ледовая!

Я посмотрел в окно.

Станция Ледовая была именно такой, какой я её представлял, и от этого стало только хуже. Деревянное здание с облупленной вывеской. Две лампы под навесом. Снег до нижних ступеней. Люди на платформе, закутанные так, что лиц почти не видно. Чёрный пар над паровозом. Где-то вдалеке лаяла собака.

Поезд остановился.

Пахом поднялся первым. Ящик он взял легко, хотя до этого держал его так, будто тот был тяжёлым.

— Вы выходите? — спросил я.

— Да.

— Идёте дальше?

— Все идут дальше.

— Хватит говорить загадками.

Пахом остановился в дверях купе.

— Тогда простыми словами: если на Волчьем перевале предложат ехать ночью — не соглашайтесь.

— Почему?

Он посмотрел на меня почти спокойно.

— Потому что ночью там считают не километры.

И вышел.

Я остался стоять посреди купе с чемоданом в руке.

— Да чтоб тебя, — сказал я ему вслед.

Но Пахом уже ушёл в коридор, и поезд вокруг снова наполнился движением: пассажиры снимали узлы, хлопали полки, ругались, искали перчатки, будили детей. Всё стало обычным. Слишком обычным.

Я вышел на платформу последним.

Холод ударил сразу, плотно, без предупреждения. Не тот городской холод, с дымом, стенами и возможностью зайти в подъезд. Здесь холод был открытым. Он не кусал — он занимал место внутри груди, как законный хозяин.

На вывеске над станционным зданием белыми буквами было написано:

ЛЕДОВАЯ

Буквы покрывал иней.

Я поставил чемодан на снег и огляделся.

Пахома на платформе уже не было. Только следы — множество следов, перемешанных, затоптанных, ведущих в разные стороны. Искать среди них его было бессмысленно.

У края платформы, там, где кончался навес, на снегу темнел маленький ком сырой земли. Я заметил его только потому, что рядом всё было белым. Через минуту по нему прошёл носильщик, и след исчез.

У выхода со станции стояли две машины.

Одна — старый ГАЗ-51 с брезентовым верхом, занесённый снегом почти до ступиц.

Другая — чёрная Победа ГАЗ-М20, с включёнными фарами и трещиной на левом стекле.

Возле Победы курил высокий мужчина в меховой шапке. Он смотрел не на поезд и не на толпу.

Он смотрел на меня.

Когда наши взгляды встретились, он выбросил папиросу в снег и поднял руку.

— Виктор Сергеевич?

Я не ответил сразу.

Потому что не знал этого человека.

А он, судя по всему, знал меня.

— Кто спрашивает? — сказал я.

Мужчина подошёл ближе, не торопясь. Снег скрипел под его сапогами сухо, зло. Он был лет сорока или немного старше, высокий, узкоплечий, с длинным лицом и тёмными глазами, которые не задерживались ни на чём дольше положенного. Такие люди кажутся спокойными, пока не заметишь, что они успевают увидеть больше остальных.

На нём был серый полушубок, подпоясанный ремнём, меховая шапка без кокарды и рукавицы из грубой кожи. На левой щеке тянулся тонкий старый шрам — не страшный, но заметный. Будто кто-то когда-то провёл по лицу ножом и в последний момент передумал резать глубже.

— Егор Лаптев, — сказал он. — Анна Николаевна просила встретить.

Я задержал взгляд на его лице.

— Анна Николаевна?

— Ваша сестра.

— Я знаю, кто она.

— Тогда хорошо.

Он сказал это без насмешки. Но мне всё равно не понравилось.

— Откуда вы знаете моё отчество?

Лаптев кивнул на мой чемодан.

— Анна сказала, что приедет Виктор Сергеевич. С чемоданом. В очках. Не любит, когда к нему лезут с расспросами.

— Последнее она добавила от себя?

— Думаю, по памяти.

Я посмотрел на Победу. Машина стояла чуть в стороне от станционного света. Чёрный кузов был весь в серой наледи, на переднем крыле — вмятина, левое стекло перечёркнуто трещиной. Фары горели тускло, как глаза у больной собаки. На бампере висел ком снега, подтаявший и снова схваченный морозом.

— До Варежска на ней? — спросил я.

— До Нижнего поста. Дальше посмотрим.

— Что значит посмотрим?

— То и значит.

Я усмехнулся.

— Замечательно. Я, кажется, попал в край людей, которые считают нормальной речью набор уклончивых обрывков.

Лаптев посмотрел на меня спокойно.

— Здесь длинные объяснения не помогают ехать быстрее.

С этим было трудно спорить, и оттого стало ещё неприятнее.

Я поднял чемодан. Рука уже болела от ручки. На платформе люди расходились быстро, будто станция была не местом прибытия, а дырой, через которую надо успеть проскочить, пока не замёрз. Пахома я не видел. Ни его тулупа, ни ящика, ни сутулой фигуры. Он исчез так ловко, как исчезают люди, которые заранее знают, куда пойдут.

— Со мной ещё кто-то поедет? — спросил я.

— Нет.

— А Пахом?

Лаптев впервые чуть заметно изменился в лице. Не испугался. Не удивился. Просто взгляд на миг стал неподвижным.

— Какой Пахом?

— Старик из поезда. С ящиком.

— Не знаю.

— Удобно.

— Что?

— Ничего.

Я пошёл к машине.

У выхода со станции стоял милиционер в длинной шинели. Молодой, круглолицый, с красными ушами. На ремне висела кобура, слишком новая для его неуверенной осанки. Он смотрел на пассажиров, но не проверял документы. Просто стоял и мёрз с видом человека, которому приказали изображать порядок там, где порядок давно уехал на юг.

На воротнике у него был иней. Имя я разглядел на металлической табличке, приколотой криво: Козлов П. М.

Козлов заметил Лаптева и кивнул ему. Не дружески. Скорее так кивают человеку, которого видят часто и предпочли бы видеть реже.

— Егор, — сказал он.

— Павел.

— На тракт?

— Если пустят.

Козлов перевёл взгляд на меня.

— Родственник?

— Брат Анны Николаевны.

— А-а.

Это а-а мне тоже не понравилось. Слишком быстро в нём всё уложилось: и Анна, и дед, и Варежск, и я. Будто я был не человеком, а недостающей строкой в уже известной ведомости.

— Документы? — спросил Козлов.

Я достал паспорт.

Он взял его окоченевшими пальцами, раскрыл, поднёс к фонарю у входа. Читал медленно, губами. Не потому, что плохо умел, а потому что хотел показать: здесь он имеет право читать медленно.

— Виктор Сергеевич Орлов, — сказал он.

Фамилия прозвучала на морозе чужой.

— Да.

— В Варежск?

— На похороны.

— Знаю.

Я поднял глаза.

— Откуда?

Козлов моргнул. Потом неловко кашлянул.

— Лаптев сказал.

— Он сказал только что. При мне.

Милиционер покраснел ещё сильнее. Лаптев молчал.

Мне захотелось выругаться. Не громко. Просто чтобы стало легче. Но вокруг было слишком много чужих ушей, а я ещё не успел войти в этот северный мир настолько, чтобы позволить ему увидеть мою злость.

— Можно паспорт? — сказал я.

Козлов вернул документ.

— Дорога плохая. На Волчьем перевале заносы.

— Мне уже сообщили.

— Ночью лучше не ехать.

— А день у вас по расписанию выдаётся?

Он посмотрел на меня с обидой.

— Я предупредил.

— Спасибо.

Лаптев взял мой чемодан и поставил его в багажник Победы. Багажник закрылся не сразу; он ударил по крышке ладонью, потом ещё раз плечом. Металл глухо стукнул. Машина пахла бензином, холодной кожей и старым табаком.

Я сел на переднее сиденье.

Внутри было так холодно, что казалось, будто машина не стояла на улице, а ночевала в реке. На панели дрожал маленький круглый прибор. Стекло передо мной было затянуто по краям инеем, и дорога виднелась только через узкую протёртую полосу.

Лаптев сел за руль, проверил подсос, повернул ключ. Двигатель кашлянул, захлебнулся и замолчал.

— Отличное начало, — сказал я.

Он не ответил. Ещё раз повернул ключ. Двигатель снова кашлянул, потом нехотя заурчал. Машина вздрогнула всем кузовом, будто проснулась и сразу пожалела об этом.

— До Варежска далеко? — спросил я.

— Если тракт чистый — шесть часов.

— А если не чистый?

— Тогда как пойдёт.

Я повернул к нему голову.

— Вы все здесь учились в одной школе ответов?

Лаптев включил передачу.

— Нет. Просто вы задаёте вопросы, на которые у дороги своё мнение.

Мы тронулись.

Станция Ледовая осталась за спиной. Фары выхватывали из темноты снег, край дороги, редкие столбы и чёрные стены складов. Потом здания кончились. Появились низкие бараки, засыпанные почти до окон. У одного крыльца стояла женщина с ведром. Она смотрела на машину, пока мы проезжали мимо, и не двигалась. Лицо её было скрыто платком, но я почувствовал взгляд.

— Кто это? — спросил я.

— Не знаю.

— Вы даже не посмотрели.

— В Ледовой много женщин с ведрами.

— Не сомневаюсь.

Я откинулся на сиденье и попытался согреть пальцы дыханием.

За окраиной дорога стала хуже. Победа шла медленно, осторожно, будто Лаптев не вёл её, а уговаривал. Снег под колёсами хрустел. Иногда машину заносило, и тогда он коротко выравнял руль без лишних движений. Водил он хорошо. Это было видно по тому, как он почти не боролся с дорогой. Он ей уступал там, где надо, и давил только тогда, когда она позволяла.

— Вы шофёр? — спросил я.

— Иногда.

— А обычно?

— В горсовете.

— Чиновник?

— По хозяйственной части.

— И вас прислали за мной?

— Анна попросила.

— Вы хорошо её знаете?

Лаптев помолчал.

— В Варежке все друг друга знают.

— Я спросил не это.

— Хорошо.

Ответ был короткий. Слишком короткий.

Я посмотрел на него внимательнее. Левая рука на руле, правая у рычага. На безымянном пальце след от кольца, но самого кольца нет. Под ногтями тёмная грязь, въевшаяся глубоко. Не канцелярская рука. И не просто шофёрская. Земля, уголь, масло. Человек, который работает не только бумагами.

— Вы были у деда в последние дни? — спросил я.

— Был.

— Зачем?

— Дрова привозил.

— Горсовет дрова развозит лично?

— Иногда.

— И что, дед сам просил?

— Анна просила.

Я отвернулся к окну.

Фары выхватили деревянный указатель на развилке. Доска была старая, буквы почти съедены снегом, но я успел прочитать:

ВАРЕЖСК — 86

Под ним, ниже, другая стрелка:

ВОЛЧИЙ ПЕРЕВАЛ

И ещё одна, совсем перекошенная:

ст. шахта КРЕСТОВАЯ

Я не успел подготовиться к этому слову.

Крестовая.

Простое название. Вполне обычное для шахты, дороги, высоты, чего угодно. Но в груди что-то сжалось так, будто я проглотил кусок льда.

Я заставил себя смотреть прямо.

— Это туда? — спросил я.

— Что?

— Шахта.

— Старая дорога.

— Работает?

— Нет.

— Давно?

— До войны закрыли.

— Почему?

Лаптев не сразу ответил.

— Выработали.

— Удобное слово.

— Какое есть.

Я усмехнулся.

— В земле редко всё вырабатывают до конца. Обычно бросают, когда становится невыгодно, опасно или когда начальство решает, что отчёты красивее правды.

— Вы правда историк.

— Это оскорбление?

— Наблюдение.

Машина проехала развилку. Указатель исчез в темноте.

Я ещё несколько секунд видел его перед глазами. Чёрные буквы на старой доске. КРЕ-
СТОВАЯ. Снег на верхнем краю. Перекошенный столб.

Ничего особенного.

Я почти поверил.

Минут через двадцать начался лес.

Не тот редкий лес у железной дороги, через который ещё просвечивают огни и столбы. Настоящий северный лес, плотный, чёрный, неподвижный. Фары резали его узкой полосой, но за этой полосой всё оставалось цельной стеной. Снег лежал на ветках тяжёлыми пластами. Иногда какая-нибудь сосна, не выдержав, сбрасывала с себя белую массу, и тогда в темноте глухо шлёпало, будто кто-то прыгал с ветки на землю.

Я не любил лес ночью. Он забирает у человека меру вещей: ствол становится фигурой, камень — зверем, собственный страх — предупреждением.

— Долго до Нижнего поста? — спросил я.

— Часа два.

— А там?

— Будет видно.

— Опять.

— Да.

Я вытащил из кармана письмо Анны. Не развернул. Просто держал в руке.

— Она сильно изменилась?

Лаптев взглянул на письмо, потом на дорогу.

— Анна Николаевна?

— У меня нет другой сестры.

— Изменилась.

— Как?

— Постарела.

Я резко повернул голову.

— Ей тридцать с небольшим.

— На севере это не мешает.

Мне не понравилось, как он сказал. Не грубо. Не жалостливо. Просто как факт. Словно старость здесь измерялась не годами, а количеством зим, которые человек выдержал без права уехать.

— Она здорова? — спросил я.

— Ходит. Говорит. Работает.

— Это не ответ.

— Другого у меня нет.

— Что с ней?

Лаптев чуть сильнее сжал руль.

— Спросите сами.

— Я спрашиваю вас.

— А я говорю: спросите сами.

В этот раз я промолчал. Не потому что согласился. Просто понял: ещё слово — и я сорвусь. А срываться в машине у человека, который везёт тебя через ночной лес, глупо даже для меня.

Дорога пошла в подъём.

Мотор загудел тяжелее. Победа тряслась, фары подпрыгивали на кочках. Снег становился глубже у обочин, местами лежал почти до капота. Лаптев включил пониженную и наклонился ближе к рулю. Всё его тело стало внимательнее.

— Перевал? — спросил я.

— Нет. Подход.

— А сам Волчий?

— Позже.

— Его ночью не проходят?

— Проходят.

— Но не советуют.

— Много чего не советуют.

— Нестер тоже ехал ночью?

Лаптев впервые посмотрел на меня не мельком, а прямо.

Машина при этом чуть ушла вправо, и он быстро вернул её на колею.

— Откуда вы знаете про Нестера?

— Газета.

— Газеты много пишут.

— В этот раз написали мало. Почтовый грузовик. Три дня назад. Почта и два запечатанных грузовых места для Варежской конторы связи. Водитель Григорий Нестеров, прозвище Нестер. Помощник без фамилии. Машина не прибыла.

Я перечислил всё почти дословно. Сам не знаю зачем. Может, хотел показать, что умею читать внимательнее газетчиков.

Лаптев молчал.

— Его нашли? — спросил я.

— Грузовик нашли.

— Где?

— У старого моста перед перевалом.

— А он?

— Нет.

— Помощник?

— Нет.

— Следы?

— Были.

— Куда?

— В разные стороны.

Я усмехнулся.

— Это как?

— Так, что те, кто смотрел, поссорились.

— Из-за чего?

— Одни сказали, следы шли к лесу. Другие — что к дороге. Третьи — что от моста к машине.

— А вы что сказали?

— Я там не был.

Сказал быстро. Слишком ровно.

— Врёте плохо, Лаптев.

Он не ответил.

— Что было в грузовых местах?

— Не знаю.

— Опять врёте.

— Осторожнее, Виктор Сергеевич.

Голос у него не изменился, но в машине стало теснее.

— Это угроза?

— Совет.

— Я не люблю советы от людей, которые скрывают факты.

— А я не люблю людей, которые едут хоронить деда и уже по дороге лезут туда, куда их не звали.

Вот теперь в его голосе появилась злость. Живая, человеческая. Даже приятная после всех уклончивых ответов.

— Значит, есть куда лезть, — сказал я.

Он резко нажал на тормоз.

Машину повело. Зад качнуло влево, потом вправо. Я ударился плечом о дверцу и выругался.

— Ты что творишь?

Лаптев молча смотрел вперёд.

Я тоже посмотрел.

Фары освещали дорогу.

Поперёк колеи стояли три человека.

Нет, не стояли.

Сначала мне показалось, что это люди. Три тёмные фигуры на белой дороге, неподвижные, вытянутые, в длинной одежде. Одна — ближе к центру, две — по краям. Снег падал между нами и ими, и свет фар делал их плоскими, почти вырезанными из чёрной бумаги.

Я моргнул.

Это были не люди.

Три старых придорожных столба с оборванной проволокой. Наклонённые, покрытые снегом. Обычные телеграфные столбы, какие вдоль рудничных дорог стояли десятками.

Лаптев медленно выдохнул.

— Столбы, — сказал я.

— Вижу.

— Тогда какого чёрта?

Он не ответил сразу.

Потом включил передачу.

— Здесь раньше линия шла к Крестовой. После закрытия шахты часть столбов сняли. Часть бросили.

— И вы их боитесь?

— Я их заметил.

— Нет. Вы испугались.

— Вы тоже.

Я хотел возразить, но не стал. Потому что он был прав, а правоту неприятных людей лучше не трогать без нужды.

Мы поехали дальше.

Столбы остались позади. Но я ещё долго видел их в зеркале, пока они не растворились в темноте: три чёрные фигуры у дороги, которые на мгновение были людьми только потому, что мой мозг решил так быстрее.

Усталость.

Недосып.

Лес.

Письмо.

Смерть.

Этого было достаточно, чтобы увидеть чёрта в каждом пне.

И всё же я спросил:

— На старом мосту тоже такие столбы есть?

Лаптев посмотрел на меня.

— Есть.

— Там нашли грузовик Нестера?

— Да.

— Понятно.

— Что вам понятно?

— Пока ничего. Но хоть что-то начинает пахнуть не только метелью.

Он молчал.

Через несколько минут дорога вышла на открытую низину. Лес отступил, и стало видно небо — тяжёлое, тёмное, без звёзд. Ветер здесь бил сильнее. Снег тянуло по земле длинными белыми полосами, как дым.

Вдали показалось строение.

Низкое, деревянное, с одним освещённым окном.

— Нижний пост, — сказал Лаптев.

У окна двигалась чья-то тень.

Я почувствовал облегчение и сразу не поверил ему. На севере любое освещённое окно кажется спасением, пока не узнаешь, кто ждёт внутри.

Победа подъехала к шлагбауму.

Шлагбаум был опущен.

Возле него стоял человек в тулупе и держал фонарь. Обычный фонарь. Электрический. Я отметил это так быстро, что сам себе стал противен.

Лаптев опустил стекло.

Внутри ворвался ветер.

— Открывай, Трофим, — сказал он.

Человек с фонарём подошёл ближе. Лицо у него было широкое, обветренное, с густыми бровями и маленькими глазами. На голове — шапка, на шее — вязаный шарф, весь в ледяных катышках.

— Не пуцу, — сказал он.

— Трофим.

— Не пуцу, говорю.

— Мне в Варезск надо.

— Всем надо. Нестеру тоже надо было.

Лаптев молчал.

Я открыл дверцу и вышел.

Холод сразу залез под пальто. Снег скрипнул под ботинками. После машины воздух казался слишком большим.

— Виктор Орлов, — сказал я. — Еду на похороны деда. В Варезске меня ждёт сестра.

Трофим повернул ко мне голову.

— Знаю.

Конечно, знает.

Я уже начал привыкать, что здесь все знают раньше, чем я успеваю представиться.

— Тогда откройте.

— Нет.

— Почему?

Он поднял фонарь и осветил не мне в лицо, а на дорогу за шлагбаумом.

Там, за полосой света, начинался подъём.

Волчий перевал.

— Потому что после темноты туда сегодня не ходят, — сказал Трофим.

— Кто решил?

— Я.

— У вас есть полномочия?

— Есть шлагбаум.

Лаптев тихо выругался в машине.

Я посмотрел на Трофима. Потом на шлагбаум. Потом на тёмную дорогу за ним.

— Послушайте, Трофим

— Трофимыч, — поправил он.

— Послушайте, Трофимыч. Я ехал почти двое суток. У меня умер дед. Завтра похороны.

Мне нужно попасть в Варежск.

— Значит, утром попадёте.

— Земля ждать не будет?

— Земля всех ждёт.

Сказано было без злобы. Даже спокойно. И от этого фраза прозвучала хуже.

Я почувствовал, как внутри поднимается раздражение. Горячее, знакомое, полезное.

— Какая, к чёрту, разница, день или ночь? — сказал я. — Дорога та же. Машина та же.

Водитель вроде не слепой. Или у вас тут ночью камни размножаются?

Трофимыч посмотрел на Лаптева.

— Резкий.

— Городской, — сказал Лаптев.

— Я здесь стою, — напомнил я.

— Вижу, — сказал Трофимыч. — Потому и не пускаю.

Я шагнул ближе.

— Если это из-за Нестерова, так и скажите.

Трофимыч перестал смотреть на Лаптева.

— А вы откуда про Нестера знаете?

— Все откуда-то знают. У вас тут так принято.

Он не улыбнулся.

Позади скрипнула дверь поста. На крыльцо вышла женщина в ватнике, с платком, завязанным низко на лбу. В руке у неё была кружка. Она была немолодая, но не старая; лицо широкое, бледное, глаза внимательные. Такие женщины на станциях, постах и в больницах обычно знают больше начальства, потому что начальство меняется, а они остаются.

— Трофим, — сказала она. — Пусти их в дом. Замёрзнут же.

— Нина, не лезь.

— Я не лезу. Я говорю.

Она посмотрела на меня.

— Вы Аннин брат?

— Да.

— Тогда идите греться.

Я не успел спросить, откуда она знает. Уже надоело.

Лаптев заглушил мотор.

— Ночуем? — спросил я.

— Похоже.

— Замечательно.

— Можете идти пешком, если хотите доказать дороге свою образованность.

— Очень смешно.

— Я не шутил.

Мы занесли чемодан в домик поста.

Внутри пахло печью, мокрыми валенками, керосином и капустной похлёбкой. После улицы это казалось почти роскошью. У стены стояла железная кровать, рядом стол, две лавки, радиоприёмник, полка с кружками и закопчённая икона в углу. На стене висела карта тракта. На ней красным карандашом был обведён участок перед Волчьим перевалом.

Я подошёл ближе.

— Здесь нашли грузовик? — спросил я.

Трофимыч снял шапку и ударил ею о колено, сбивая снег.

— Там.

Он не подошёл. Только показал пальцем издалека.

На карте рядом с обведённым местом было написано мелко:
старый мост

Ниже — карандашная пометка:

Нестер. 3 дня.

Я прочитал её и почувствовал неприятный холод уже не от улицы.

— Почему три дня? — спросил я.

Нина поставила кружку на стол.

— Потому что на четвёртый обычно уже не ищут живых.

В доме стало тихо.

Где-то в печи треснуло полено.

Я медленно повернулся к ней.

— Обычно?

Нина посмотрела на Трофимыча, потом на Лаптева.

Никто не ответил.

Вот так, значит.

Я снял перчатки, положил их на стол и сел на лавку.

— Ладно, — сказал я. — Давайте без ваших северных загадок. Что случилось с Нестером?

Трофимыч фыркнул.

— Городской приехал и решил, что сейчас ему всё разложат.

— Да. Именно так. Потому что пока я вижу только людей, которые делают вид, будто молчание — это разновидность ума.

Лаптев тихо сказал:

— Виктор Сергеевич.

— Что? Я должен сидеть, греться и радоваться, что мне позволили не умереть у шлагбаума? Спасибо. Тронут. Теперь ответьте на простой вопрос: почему вы не пускаете машину через перевал ночью?

Трофимыч подошёл к столу и навис надо мной. Он был ниже, чем казался снаружи, но шире. От него пахло морозом, махоркой и овчиной.

— Потому что ночью на перевале дорогу иногда видно не туда.

Я посмотрел на него.

— Это как?

— Так.

— Нет, вы словами попробуйте.

Нина села напротив меня.

— Человек едет по колее, — сказала она спокойно. — Видит дорогу. Столбы. Мост. Поворот. Всё как надо. А утром его следы находят в стороне. Там, где дороги нет.

— Занос.

— Иногда.

— Метель.

— Иногда.

— Пьяные водители.

— И такое было.

— Вот видите.

— А иногда снег ровный, ветра нет, водитель трезвый, машина исправна. А следы всё равно уходят туда, где ехать нельзя.

Я открыл рот, потом закрыл.

Не потому что поверил. А потому что спорить с человеком, который сам спокойно перечислил все нормальные объяснения, было труднее.

— И вы думаете, что с Нестером было это?

— Я думаю, — сказала Нина, — что ночью лучше не ехать.

Трофимыч кивнул.

— Умная женщина.

— А ты молчи, — сказала она. — Умные люди шлагбаум чинят до зимы, а не палкой подпирают.

Лаптев неожиданно усмехнулся.

Это было первое почти нормальное человеческое движение за весь вечер.

Я посмотрел на карту снова.

Старый мост.

Нестер.

Три дня.

— Грузовик где сейчас? — спросил я.

— У моста, — сказал Лаптев.

— Его не убрали?

— Не смогли.

— Почему?

— Заднее колесо ушло под лёд у обочины. Трактор нужен.

— А груз?

Трофимыч и Лаптев обменялись взглядом.

Я заметил.

— Вот об этом подробнее.

— Почту забрали, — сказал Лаптев.

— А два грузовых места?

Молчание.

Нина отвела глаза к печи.

Трофимыч почесал щёку.

Лаптев сказал:

— Одного не было.

— Что значит не было?

— То и значит. В ведомости два. В кузове одно.

— Второе украли?

— Может быть.

— Или?

— Или Нестер его выгрузил.

— Куда?

— Вот это хороший вопрос.

Я почувствовал, как внутри неприятно сдвинулось что-то тяжёлое.

Вот теперь заметка из газеты перестала быть заметкой.

Она вошла в комнату, села за стол и потребовала места.

— Что было в том, которое осталось? — спросил я.

— Аппаратные детали для конторы связи, — сказал Лаптев. — Катуски, изоляторы, мелочь.

— А пропавшее?

— По ведомости — архивный ящик.

Я медленно поднял глаза.

— Какой архивный ящик?

— Без описи.

— Откуда?

— Из Ледовой. Для Варезского городского архива.

— Почему через почтовый грузовик?

— Потому что другого транспорта нет.

Я выдохнул.

Снаружи ветер ударил в стену, и домик чуть скрипнул.

Архивный ящик.

Без описи.

В Варезск.

За три дня до моего приезда.

Я заставил себя остановиться. Пока были только факты: пропал грузовик, один ящик исчез, никто не говорил прямо.

— И вы думаете, что этот ящик связан с моим дедом? — спросил я.

Лаптев посмотрел на меня.

— Это вы сказали.

— Но подумали вы.

— Много кто много чего думает.

— Да чтоб вас всех.

Я встал и прошёлся по комнате. Три шага туда, три обратно. Больше места не было.

Нина молча налила мне кипятка в жестяную кружку.

— Пейте.

— Спасибо.

Я взял кружку. Пальцы сразу заболели от тепла.

— Анна знает про Нестера? — спросил я.

— В Варезске знают, — сказал Лаптев.

— Это не ответ.

— Да. Знает.

— И не написала.

— Может, не хотела пугать.

— Она вообще мало что написала.

Нина тихо сказала:

— Иногда правильно делает тот, кто пишет мало.

Я посмотрел на неё.

— Почему?

Она не ответила.

Вместо неё Трофимыч подошёл к двери, приоткрыл её и выглянул наружу. Ветер сразу бросил в комнату снег.

— Закройте, — сказала Нина.

Он не закрыл.

— Трофим?

Он поднял руку, чтобы она молчала.

Лаптев тоже повернул голову.

Я поставил кружку на стол.

Снаружи, за шлагбаумом, в стороне дороги, что вела к перевалу, в темноте горел огонь.

Жёлтый.

Небольшой.

Неподвижный.

Трофимыч тихо сказал:

— Ну вот.

— Что вот? — спросил я.

Никто не ответил.

Огонь стоял далеко, за линией шлагбаума, там, где начинался подъём к Волчьему перевалу. Не электрический фонарь. Не фара. Не костёр.

Лампа.

Я знал это, хотя не имел права знать.

Лаптев резко взял со стола ключи.

— Нет, — сказала Нина.

— Надо посмотреть.

— Не надо.

Трофимыч закрыл дверь и опустил засов.

— Никто никуда не пойдёт.

— Там человек, — сказал я.

— Может быть.

— Может быть? Вы с ума сошли? Там мороз.

Трофимыч повернулся ко мне.

— Если там человек, он сам дойдёт до двери.

— А если не может?

— Тогда вы ему не поможете.

Я смотрел на него и чувствовал, как злость вытесняет страх. Это было удобно. Злость проще. Её можно направить на конкретную рожу.

— Конечно, — сказал я. — Лучше сидеть у печки и рассказывать сказки про дорогу, которая ведёт не туда.

— Сядьте, Виктор Сергеевич, — сказал Лаптев.

— Не командуйте мной.

— Сядьте.

В его голосе было что-то такое, что я всё же сел. Не сразу. Но сел.

Нина подошла к окну и задернула занавеску.

— Не смотрите, — сказала она.

Я рассмеялся. Коротко, зло.

— Только этого не хватало.

— Что?

— Не смотреть, не отвечать, не ехать, не спрашивать. У вас тут вся жизнь построена на отрицательных глаголах?

Нина посмотрела на меня.

— Иногда они спасают.
Я хотел сказать что-то грубое.
Но снаружи постучали.
Три раза.
Не в дверь.
В окно.

Сначала никто не двинулся.
Даже печь, казалось, перестала трещать. Только ветер скрёб по стене поста, да где-то под потолком тонко подрагивало стекло лампы.

Я смотрел на занавеску.

Она висела неподвижно. Старая, выцветшая, с коричневыми цветами, которые когда-то, наверное, были красными. За ней было окно. За окном — ночь, снег, шлагбаум, дорога на Волчий перевал.

И кто-то только что постучал в стекло.

Три раза.

Не сильно. Не так, как стучат замёрзшие люди, которым нужно в тепло. Скорее осторожно. Почти вежливо.

— Не открывай, — сказала Нина.

Голос у неё был низкий, ровный. Но пальцы, которыми она держала край стола, побелели.

Трофимыч стоял у двери. Он не смотрел на окно. Он смотрел на засов, будто тот мог сам собой подняться.

Лаптев медленно положил ключи обратно на стол.

— Может, кто-то пришёл с дороги, — сказал я.

— Через окно? — спросила Нина.

— Я посмотрю.

— Не отдёргивайте всю, — сказала она. — Чуть-чуть.

Я подошёл к окну и взялся за край занавески. Ткань пахла пылью, жиром от печи и старым дымом.

За стеклом была ночь и снег. У самого окна никого не было.

— Снаружи пусто, — сказал я.

— Значит, не открывайте, — сказала Нина.

— Не годится. Если там человек, должны быть следы. Если это ветка или лёд — тоже увидим.

Лаптев поднялся.

— Один не пойдёте.

— Я и не просил одиночества.

Трофимыч подошёл к двери, снял засов, но дверь сразу не открыл.

— Вместе, — сказал он. — Нина, за нами закрыть.

Лаптев взял второй фонарь и железный лом с обмотанной тряпкой рукоятью.

— От ветра? — спросил я.

— От глупости, — сказал он.

Трофимыч открыл дверь.

Холод вошёл сразу, как зверь.

Он не просто ударил в лицо. Он вытолкнул из лёгких воздух. Первые две секунды я не мог вдохнуть и стоял на пороге, моргая от снега. Потом Лаптев толкнул меня плечом.

— Идите.

Мы вышли.

Дверь за спиной закрылась. Щёлкнул засов.

Снаружи мир был меньше, чем из окна. Фонарь выхватывал только снег под ногами, стену поста, край шлагбаума, чёрную дорогу за ним. Остальное исчезало в метели. Не сильной, нет. Просто достаточно плотной, чтобы всё дальше десяти шагов становилось чужим.

Я поднял воротник.

— Окно там, — сказал Трофимыч.

— Я вижу.

Мы обошли домик сбоку.

Под стеной снег был ровный. Если кто-то подходил к окну последние минуты, следы должны были остаться.

Их не было.

— Ветер замёл, — сказал Лаптев.

— Быстро.

— Здесь быстро.

Я поднял фонарь к раме.

Ниже, на деревянной раме, там, где краска облупилась от сырости, темнела тонкая полоска грязи. Не широкая. Как если бы кто-то провёл пальцем.

Я наклонился.

На раме было написано одно слово.

Нет. Не написано. Процарапано. Неровно, мелко, как царапают дети гвоздём по дереву.

ВИТЯ

Я смотрел на эти четыре буквы.

Фонарь дрожал в руке.

Имя могло быть старым. Витя — не редкость.

Но царапины были свежие. В светлой сырой древесине ещё не успела набиться грязь; по краям торчали мелкие щепки.

Лаптев увидел.

Трофимыч тоже.

Никто ничего не сказал.

И вот это было хуже всего.

Если бы они начали креститься, шептать, орать, я бы разозлился и стало бы легче. Но они молчали. Стояли рядом со мной в снегу и смотрели на имя на раме так, будто им не надо было объяснять, почему оно появилось.

— Кто это сделал? — спросил я.

Лаптев повернул ко мне голову.

— Я был с вами в комнате.

— Знаю.

— Трофим у двери.

— И это знаю.

Трофимыч шагнул ближе.

— Нину не трогай.

— Я никого не трогаю. Я считаю варианты.

Он ничего не ответил.

Я протянул руку и провёл пальцем по царапинам. Щепки задели кожу. Настоящие. Свежие.

На указательном пальце осталась тонкая полоска древесной пыли.

— Объясни.

Лаптев смотрел не на палец, а на раму.

— Не знаю.

Это были первые честные слова, которые я от него услышал. От них стало хуже.

Из леса донёлся звук.

Не стук. Не свист. Не голос.

Скрип.

Будто по снегу медленно волокли что-то деревянное.

Все трое повернулись одновременно.

Фонари выхватили только метель.

Скрип повторился. Теперь чуть правее. За шлагбаумом, в стороне дороги на перевал.

Трофимыч тихо сказал:

— В дом.

— Что это?

— В дом.

— Что это было?

Он взял меня за рукав.

— Потом будете спрашивать. Сейчас — в дом.

Я хотел возразить, но в этот момент в темноте за шлагбаумом загорелся жёлтый огонь.

Не вспыхнул. Не появился постепенно. Просто стал.

Как если бы он всё это время был там, а я только сейчас получил право его видеть.

Лампа стояла на дороге.

Я говорю стояла, потому что человека рядом я не видел. Только огонь в стекле и тёмный силуэт самой лампы, низко над снегом. Она была слишком далеко, чтобы различить детали, но слишком близко, чтобы спутать её с фарой или фонарём.

Пламя не трепетало.

Ветер бил мне в лицо, рвал полы пальто, сыпал снегом по глазам. А огонь стоял ровно.

Лаптев выругался.

Трофимыч толкнул меня в плечо.

— В дом!

На этот раз я не спорил.

Мы почти побежали обратно. Трофимыч стучал в дверь кулаком.

— Нина! Открывай!

Засов поднялся.

Мы ввалились внутрь вместе со снегом и холодом. Нина сразу закрыла дверь. Лаптев поставил лом к стене и некоторое время стоял, глядя в пол.

Я прислонился к столу.

Дышал часто. Не от бега. Далеко мы не бежали.

От другого.

Нина посмотрела на меня.

— Видели?

Я поднял глаза.

— Что именно? Моё имя на раме? Лампу без человека? Выбирайте, что вам больше нравится.

Она побледнела.

— Имя?

Трофимыч снял шапку и сел на лавку. Тяжело. Как старик, хотя ещё не был стариком.

— На раме, — сказал Лаптев. — Свежо.

Нина перекрестилась. Быстро, почти незаметно.

Я увидел это и отвернулся. В комнате было слишком много готовых жестов — кресты, молчание, закрытые занавески — и слишком мало ответов.

— Мне нужно нормальное объяснение, — сказал я. — Кто мог это сделать?

Я ходил по комнате. Три шага туда. Три обратно.

Нина молчала.

Трофимыч молчал.

Лаптев молчал.

— Прекрасно, — сказал я. — Значит, вариантов нет?

— Есть, — тихо сказала Нина.

Я остановился.

— Какой?

Она посмотрела на дверь.

— Тот, который вам не понравится.

— Попробуйте.

Нина села за стол. Руки она держала перед собой, ладонями вниз, будто старалась унять дрожь.

— Иногда перед перевалом зовут.

— Кто?

— Не знаю.

— Не знаете, но рассказываете?

— Я говорю то, что видела.

— Вы видели, кто зовёт?

— Нет.

— Тогда откуда знаете, что зовут?

Она подняла на меня глаза.

— Потому что люди идут.

Мне нечего было ответить сразу.

Она продолжила:

— Не все. Не всегда. Но бывает. Человек слышит или видит что-то своё. Имя. Голос. Свет. След. То, что касается только его. Другие могут стоять рядом и ничего не понять. А он понимает. Или думает, что понимает.

Я медленно сел.

— И что?

— И если идёт — может не вернуться.

— Почему?

— Потому что дорога ночью не всегда там, где должна быть.

Лаптев отвернулся к печи.

Трофимыч смотрел в пол.

Я молчал. В этой версии было слишком много северного страха и слишком мало доказательств. Но имя на раме лежало между нами как вещь, которую нельзя убрать словом.

— Я не готов в это верить, — сказал я.

— Никто не просит, — ответила Нина.

— Хорошо.

— Лучше просто не выходите до утра.

Я посмотрел на занавешенное окно.

— А если снова постучат?

Трофимыч поднял голову.

— Не открывать.

Я усмехнулся.

— А если назовут по имени?

Никто не ответил.

В этой паузе я вдруг услышал деда.

Не голос. Память о голосе.

Не отвечай, если услышишь своё имя.

Я встал так резко, что лавка скрипнула.

— Нет, — сказал я.

Лаптев посмотрел на меня.

— Что?

— Ничего.

— Вы побледнели.

— Я всегда так выгляжу при недостатке сна и избытке идиотизма.

Слова прозвучали грубо. Хорошо. Грубость помогла.

Я достал папиросу, хотя курил редко. Руки не сразу нашли спички. Лаптев молча подвинул коробок. Я закурил, затянулся и тут же закашлялся.

— Не курите? — спросила Нина.

— Сегодня начну.

За стеной снова прошёл ветер. Домик скрипнул.

Но стука больше не было.

Лампа снаружи, если она ещё стояла там, была скрыта занавеской. И хорошо. Смотреть на неё мне не хотелось.

Это раздражало больше всего.

Я не хотел смотреть.

Не потому что верил.

Потому что не был уверен, что выдержу, если увижу её снова.

Мы просидели так почти час.

Никто не спал. Трофимыч несколько раз выходил в сени, но дальше двери не ходил. Лаптев разбирал и собирал спичечный коробок, пока Нина не забрала его у него молча. Я делал вид, что читаю газету, хотя газетные строки давно превратились в серые полосы.

Под утро ветер стих.

Не сразу. Сначала дом перестал вздрагивать. Потом снег за окном стал падать мягче.

Потом в тишине где-то далеко проснулась собака и залаяла один раз, хрипло, будто пожалела.

Трофимыч поднялся.

— Светает.

Нина отдернула занавеску.

За окном было серо.

Потом вспомнил раму.

Мы вышли уже при рассвете.

Воздух был синий, жёсткий. Дорога на перевал лежала перед нами пустая. Никакой лампы. Никаких фигур. Только шлагбаум, снег и тёмная линия подъёма.

Под окном снег оставался ровным.

Я подошёл к раме.

Имя было на месте.

ВИТЯ

Свежие царапины потемнели от холода.

Я стоял и смотрел.

Лаптев подошёл рядом.

— Поедем, — сказал он.

— Через перевал?

— Теперь можно.

— А это?

Он тоже посмотрел на имя.

— Возьмём с собой.

— Что?

— Не ответ. Не объяснение. Просто факт.

Я хотел возразить, но не стал.

Потому что он был прав.

Это был факт.

И впервые за много лет факт не делал мир понятнее.

Он делал его хуже.

Победа медленно выкатилась на дорогу. Лаптев молчал. Я тоже. За спиной оставался Нижний пост, занавешенное окно и моё детское имя, выцарапанное на раме ночью, когда под окном не было ни одного следа.

Впереди начинался Волчий перевал.

А за ним — Варежск.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.